

Евгений Морозов
ДОЛГАЯ МАШИНА





Евгений Морозов

.....

ДОЛГАЯ МАШИНА

стихотворения

Москва

LitGOST

2024

УДК 821.161.1

ББК 84

М 80

М 80 **Морозов Евгений**

Долгая машина / Евгений Морозов. Стихотворения. —
М.: «ЛитГОСТ», 2024. — 104 с.

ISBN 978-5-6051485-0-0

В книгу вошли стихи 2020—2023 годов.

ISBN 978-5-6051485-0-0

© Морозов Е. А., 2024

© ЛитГОСТ, макет, 2024

* * *

В памяти рылся — забвеньё наскрёб...
Для мыслелова, как для змеелова,
для рудокопа, что стал землекоп, —
гулкое нечто для тихого слова...

Как ни любви, ни полцарств, ни чинов,
вместо всей жизни, чем вдаль, тем нелепей,
тёмная масса просмотренных снов,
редкие вспышки на вспомненном небе...

Снегом декабрьским лицо уколи,
светом весенним зардейся здорово —
всё это прошлое. Что там вдали
слышится, светится? Зарево, слово...

Не говори мне, что знать и беречь,
сам расскажу, как понятно и грубо,
как невозможно запутывать в речь
это мычание у жизнелюба.

* * *

В сентябре, проходя «флюорографию»,
орфографию справок и сук,
мысль о будущем — просто оставь её,
отправляйся в октябрь, мой друг.

В октябре будут павшие, ставшие —
чуть надавишь — рассыпанный звук,
листья жёлтые, листья летавшие,
отшуршавшие листья, мой друг.

Что ни осень, средь праха и вороха
с этих листьев, тоски на краю
не возьмёшь ничего, кроме шороха,
кроме вида полёгших в бою...

Сбиты с дерева, ветром изломаны,
слиты в кучи, в сухие ряды —
это самое время, знакомое,
тощих веток и хрупкой воды...

В лёд и в сахар всё станет заковано,
что ни город, то пряничный вид,
что ни грусть без причины — кого она
средь холодной судьбы удивит...

Как внутри у тебя ни колышется,
как ни осень повсюду, чёрт с ней:
замечай лишь, что жётся, что дышится
светом воздуха, свежестью дней...

Взгляд живучий, кипящие волосы,
кровь желаний и юность взаймы —
я к тебе обращаюсь по голосу
из упавшей листвы, из зимы...

* * *

Средь лица выражений счастливых
почему, если долго смотреть,
в этих синих глазах, в чёрных сливах —
то ли страшная жизнь, то ли смерть?

Женский омут, притихнувший жадно,
как бы смех его ни заволок,
словно текст, где от слов непонятно,
но читается снег между строк...

Знаешь лишь, что легко далеко ты
можешь быть заведён и нести
крест гитары, звезду идиота
где-то в сердце и в небе пути...

За любовью, за синим проклятьем,
не учи тебя жизнь ничему,
не цыганское это занятие —
знать про всё, поступать по уму...

Неизвестность, которая глуше
самой смерти, приличней подчас —
за глаза, за смотрящие в душу,
за тревогу, зовущую нас...

Зимний пляж

I

Ты говорила: «Вот волнолом,
лодки, зимующие на причале,
вот горизонт с бороздою леса,
речка, покрытая снегом, — вот,

люди, стоящие на гвоздях,
после лежання в парнóм раю,
пляж, разорённый нашествием льда,
с железными пальмами на ветру.

Вон — уходящая в воду коса
с зубцами, торчащими, как надгробья,
вот — апрельские рыбаки,
вьющие крохотные ворóнки.

Это пространство с кипячёным небом,
промёрзшим полем, берлогой реки —
вот оно, вот домá, вот деревья,
берег вот, вот я, вот ты...

Ты, смотрящий тák на меня,
как смотрят вдаль, не зная, что делать,
с этой далью, закованной в лёд,
с небом, поданным, как на блюде...»

Ты говорила так, так я слушал
слова с приподнятой интонацией,

слова-параллели, слова-доказательства,
слова, расщеплённые на лепестки...

Честная королева изошрённых монголов,
римский папа европейской логики,
темноглазая орхидея спокойной воды,
серебряный голос с весенней улыбкой —

я брал тебя за руку, в тонкой перчатке,
с замёрзшими пальчиками, чувствовал, как
среди поля, где пасмурно и просторно,
было тепло — ты улыбалась.

Немного взволнованно, с лицом, как будто
случится страшное и желанное,
ты говорила, а я угадывал
мысли, которые больше чувствуешь...

Мимо — сны росли на небо,
кто-то плёлся с велосипедом,
снял на камеру, сливался с природой,
тонул в неясном вечернем фоне.

Речь, припрятанная в тесной речи,
песня в песне, запнувшийся каблучок,
губы, которые обжигал
свежий холод речной равнины, —

я знаю тебя. Я помню, что сон
пугает одним, а на деле — другое,
что у природы и честной скуки —
честно одно: мы здесь вдвоём.

Что ты сильна, но плачешь от нежности,
что нет тепла теплей, чем среди холода,
что много слов означает одно.
И вот говорю: «Я буду честным».

II

Это — как слышать тебя, настоящую,
различать сквозь простор и ветер твой образ,
говорящий мне: «Я одна», «Ты хороший»,
«Эти сосны растут везде...»

Круг от солнца, похожего на луну,
пасмурный лист ненаписанного неба
и вся, во мне остающимся голосом,
ты звучала — песня о снеге...

* * *

Глянул на фото и словно обжёгся:
в профиль светилась, красиво стоя,
так сохранилась, что не уберётся
от подступающей памяти я...

В городе, где не родился, не вырос,
дом твой таков, что домашнее нет,
здесь мы смеялись, взлетали, ложились,
делали лицами трепет и свет.

В людях, предметах, открывшихся видах,
в съехавшем небе над родиной крыш
ты улыбаешься, вдох мой и выдох,
ты прикасаешься, ты говоришь...

Ты почему загораешься, тлеешь,
прячешься в грудь мою, словно домой,
ты почему так неловко умеешь
мною болеть о тебе о самой?

Как хорошо, что так сердце свирепо,
что успокоить — поди разберись...
Значит, хоть что-то во мне вроде неба —
синего флага на тёмную высь...

* * *

Я слышал, что римлян
сгубила уставшая власть,
и, небом ушиблен,
ты можешь устать или пасть...

До света лучивший
всю ночь, как листок на суку,
торчавший, лечивший
четвёртую в тексте строку,

ни капли не спавший,
ловивший у неба совет,
про всё вспоминавший
о чём-то забывший поэт,

про власть над собою
не знавший, но, как на краю,
мольбой и ходьбою
империю длящий свою.

В кромешном чертоге
патриций одной простыни,
какие там тоги
носили в сенате они...

Какие-то орды
напором сметал легион,
ты сон гонишь твёрдо,
и всё возвращается он.

Придёт и обманет,
усталостью ляжет верхом,
но текст перестанет
и станет обычным стихом.

И ты перестанешь
быть Римом и станешь рекой,
и, может быть, ранишь
однажды четвёртой строкой.

Органный зал

Я вошёл сюда, половицей скрипнув, —
в зал органный с чуткою тишиной,
чтобы стать убитым вот этой скрипкой,
этим деревом, этой его струной.

Средь усилий гулких и тихих ритмов
не одна лишь скрипка скрепляла нас,
но она запомнилась, как молитва,
говоримая искренне в трудный час.

Средь других играющих инструментов
так она тянула свою струну...
Так про жизнь крутила, как киноленту,
затяжную, злую, мою вину...

Что звезда из глаза скатилась скупю,
словно всё простилося, и понял я:
этот свет скрипичный, природа звука —
это есть твой голос, душа моя...

О, убийца словом и посторонний
обитатель улиц, жилец домов,
почему же хору таких гармоний
ты давно созвучен среди шумов...

Гордецу до смерти и жизнелюбу —
деревянный зал, тишину-погост,
где Господь скрывался в готичных трубах,
где заплакал я, — оказался прост...

Описание поцелуя

Силой травы, прорастающей асфальт,
глупостью реки, сталкивающей суда,
неотвратимостью мудрого утра —
я целовал тебя, загнанную в смех...

По твоим уступам, овалам, земляничной мякоти,
обнимая запах отвечающего тела,
я задышался наверх, торопя дыхание,
вжимался в тебя обезоруженным зверем.

Ты — превращалась в дикую сладость,
васильковое поле, капли на струнах,
в опьяняющие глаза, темнеющие близко,
ты звенела в ответ понятливой нежностью.

В тебе, открытой, как детская книга,
я ходил и читал не сказанные слова:
«Милый», «Любимый», «Я без тебя не могу» —
среди будничных фраз и междометий...

Всё это мелькало, всё это то́,
чего человек устыдится, как слабости,
чем назовёт по имени чувства,
меняющие жизнь, не дающие выбора.

В твоей стране зачёркнутой нежности,
исправленной любви, многоточий взгляда
так много вежливых умных страниц,
где тебе удаётся не плакать одной...

Не плакать вдвоём, не плакать со всеми,
не плакать со мною — влившимся в губы,
говорящим, как нет ничего, как это
похоже на сон, забывшийся прежде...

Тело твоё, которое я чувствую
горячими прикосновениями сквозь одежду,
его изгибы, его волнение —
с приветливой силой оно отвечало...

С горечью инея, усыпляющего траву,
с живостью судна, затёртого во льдах,
с выживанием на ощупь среди темноты —
ты длилась, плавилась, прекращалась...

И странно отпрянув, как будто в игре,
смотря друг на друга детским испугом,
мы дышали с улыбкой, и я видел близко
твоё тепло, твоё желание...

Поезд виноватых

В долгом поезде куда-то
ехал самую весной,
видел — с видом виноватым
люди ехали со мной,

ели суп из бич-пакетов,
спали сверху и внизу,
и как стыд давил за это,
за мелькание в глазу...

Вещи, головы и пятки,
ровный стук подпольных рельс —
ехал поезд без оглядки
мимо линии небес...

Боковой сосед в окошко
всё глядел, как часовой,
а потом упал немножко
головой на столик свой...

С видом, словно покаянным,
задремал он у окна,
и над ним сияла странно
непонятная вина.

Головою он в сторонке
на руках своих лежал,
а над ним навис тихонько
горней совести кинжал.

Может, он убил, ограбил,
может, мучился тайком,
может, женщину оставил
в положении каком...

Поезд, где как будто спрятан
человек, а стук во мглу —
виноватей виноватых
ехал я в своём углу.

Я глядел в своё окошко,
я скучал, входя в тоску,
я сошёл с ума немножко,
я придумывал строку,

слушал песни с тишиною,
ел и пил, томился сном,
и висело надо мною,
и сияло за окном —

заоконная, иная,
и вагонная, моя,
непрожитая вина и
даль по самые края...

Кто расскажет, что с тобою,
если долго ехать, плыть,
если плохо сам с собою
человек умеет быть.

Если он умеет много,
не умея быть в беде,
если он — ещё дорога
в мысли, в прошлое, в нигде...

* * *

За твоё душевное человечье,
за о самом главном на просторечье,
за среди всей сложности остального,
за — такое дело — родное слово...

И уже размякнет, и дрогнет нежно,
и уже он сам человек, конечно,
и как будто не был — вернулся снова,
и в ответ посмотрит... И будет слово.

В этом слове он — твоя кровь и рóвня,
он тебя так понял, как будто обнял,
словно слышишь голос с последней клятвой,
видишь, как похож он, как будто брат твой...

В занесённом городе, в ясном поле
это слово мне говори ты, что ли,
говори не мне — говори кому-то,
но хотя бы раз, чтоб теплело будто...

Потому что, если оно согрело,
это слово самое — это дело,
потому что это равно спасенью,
потому что слух не уступит зренью.

* * *

С видом грустным и нелюдимым
шёл по улице я домой,
как услышал, что пахнет дымом
и вечернею шаурмой.

Что-то жарили и крутили
по соседству недалеко,
есть хотели, но больше пили,
говорили на языке...

Тихо голуби снег клевали,
попрошайки кидали взгляд,
полный крови, с лицом печали
умоляли душевно: «Брат...»

За щитами в сплошной рекламе
здешних выгод, цветных красот —
с костылями и фонарями
на скамейках сидел народ.

Или парочкою влюблённой,
как не видя вокруг конца,
проходили — из миллиона —
два счастливица. И два глупца.

Бестолковая, деловая,
жизнь простела, ещё терпя,
узнавая-не узнавая
и ломая саму себя.

Я не знаю обычной часа,
в чём секрет её и успех,
но горелый, но запах мяса
мне запомнился больше всех...

* * *

О чём знает птица,
когда приударит мороз,
а юг только снится —
нелепый, конечно, вопрос...

О чём тихо знает
молчащая сухо трава,
когда поджигают
её, и она не жива.

О чём знает книга
раскрытого неба вверху...
Должна быть интрига,
должна быть строка на слуху.

Изложенный кратко,
хотя и навёчен, и прост,
но свет как загадка,
читатель неписанных звёзд.

Легко и негромко
всей памятью, всею тугой,
ты знаешь о чём-то,
о чём не узнает другой...

Не требуй ответа,
но этот закон меж людьми,
несчастье это,
незнание это прими...

Поскольку на свете
нельзя быть в себе и везде,
поскольку в ответе
нет правды об этой беде...

Когда пробирает
и ад припирает вокруг,
о чём-то все знают,
о чём-то все знают, мой друг...

Элегия павших надежд

Как много листьев... Прежде и вверху,
шумя с ветвей, нависнув тесной кроной,
внимания они не привлекали,
но вот, упав на землю и гния
прекрасным воспалённым разноцветьем,
они как будто всюду: наступая
на почву, наступаешь и на листья,
которые (и ты про это знаешь)
должны иссохнуть и утратить цвет.

Краса намёков, осень, мать дождей,
в права вступает, долгие итоги
в итоге завершаются, и кратко
звучит как приговор, что быть зиме.
Но снега нет ещё... Я вспоминаю,
смотря на листья, рябь дневной реки,
где от жары спасался, зыбь песка,
в который погружал босые ноги,
хождения средь зелени и сверху
живой непоправимый синий цвет,
какие-то дела и поздравленья,
находки строк, прочитанные книги,
известия о смерти, эпизоды
с людьми, прозренья радости и грусть...

Тебя со мною нет. Я стал глухим
как будто, с отрешённым чёрствым видом,
и хоть давно не чувствую, что бьётся
в моих объятьях тело, даже имя

твоё мне помнить больно, что́ уж — видеть,
но ты всё содрогаешься во мне...
Ну что же... Иногда судьбе угодно
умнее быть, чем нам, чем представленьё
о счастье, как бы ни было красиво
оно в твоём построено уме.
Я осень не люблю. Она внушает,
что скоро мёрзнуть и носить одежды
поверх одежд привычных, что природа
опасна, как ни грела бы любовь.

И всё-таки, когда качнёт весна,
потянет воздух свежестью горелой,
вернёшься ты на солнечную Землю
с планеты голых веток и снегов.
Война твоих страстей есть мир в тебе,
и, что бы ни случилось в этом мире,
всё будет цвести и гнить, как сами листья,
чтоб эти превращенья удались...
Я смысла не ищу. Да и, наверно,
нет смысла всё описывать словами;
я просто вижу правду, и порою
про это всё понятней не сказать.

* * *

Как хорошо, что всё на свете
травою станет и враньём.
О, как правдиво солнце светит,
пока живём, пока живём...

Как хорошо, что дождь не ранит,
стреляя лето напролёт,
но попадать не перестанет,
пока идёт, пока идёт...

Как хорошо, что неизвестно,
что там вдали, какой испуг,
но будет верно, будет честно,
пока любовь, любовь, мой друг...

Но как подумать ни заставьте
и как себя ни назову,
я не умею знать о правде,
пока я вру, пока живу...

* * *

Тянет свежестью, духом банным,
табаком, выхлопную тьмой —
что проездом я безымянным
позабыл тут, читатель мой...

Лыжный снег, городьба с огнями,
указатели, в добрый путь —
и, смотря за окно, как в яме,
ты сидишь в темноте по грудь;

под приёмник в машине долгой
ты молчишь, как прижат стеной, —
за бегущей назад дорогой,
за светящей вперёд луной.

Пролетают кресты, заправки,
крыши съехавших деревень,
лёд рассерженный вместо травки,
ночь на небе, хотя и день...

Километр за километром,
дом за домом, за светом свет —
как потерянный, вместе с ветром,
как планета, которой нет...

Под старательный звук мотора
и бесшумную гладь ума,
есть ли, нет ли, ты скоро-скоро,
а повсюду зима-зима...

* * *

О пацан, что в школьной мужской шеренге
утешался пендалем, но без слёз,
как в игре суровой, прилипнув к стенке,
ты в итоге выиграл и подрос...

Ты сквозь память вышел из всех напастей
через тридцать лет на привычный свет,
но гораздо шире и коренастей,
человек с пакетом, в котором «нет»...

Загляни в себя — только снег и паперть,
где, с душой протянутой, дел среди,
в кружевное прошлое крепко заперт,
выходи из памяти, выходи...

Знать не знались или не говорили,
но долбили, родину-мать твою
и мою, и так наизусть любили,
что с протянутой памятью я стою.

Отпиши мне мысленно или тоже
встань на месте, в памяти теребя,
почему, прохожий мой, и за что же
я узнал тебя, я узнал тебя...

* * *

Я поставил на полку новогодние домики
из китайской пластмассы и электричества,
домики, украшенные уютными лампочками,
домики с окошками, на длинном проводе.

Я щёлкнул рычагом и в этих окошках
увидел людей, которые ссорились,
стирали вещи, загораживали свет,
проводжали праздники, просыпались на работу.

На ёлке игрушки захлёбывались огнями,
темнели цветные коробки с фильмами,
возвещал телевизор, прятались подарки,
загробный ковёр уводил из комнаты.

Я нажал выключатель, и домики кончились,
прокисли голоса, перестали заботы,
люди остались в скучной темноте,
не чуя того, куда всё девалось.

Убийца праздника с будней мыслью,
я сгрёб украшения в страшный пакет,
я прибрал в кладовку, закрыл за дверь,
я поглядел — на собственные дела...

Там, где домики, теперь ничего —
деревянная поверхность, удивление внутри,
и, стоя в пустоте, я улыбался
и вспоминал, как грустно и здорово.

* * *

...День шестой. Я поднялся с постели.
На часах — пять вечера, мельницею метели
за окном ветра́, всюду снега льняные,
что никуда из дома. Грустные выходные.

На полу — ковёр, пластмассовая бутылка
выпита и измята; толстая, как копилка,
книга стихов, с неё устремлён куда-то
птичий профиль бывшего лауреата.

Наконец-то выспан, я в тишине, как в доме,
та́к всё тихо, длинного ритма кроме,
но не ужатого всё-таки до оргазма —
опись Бродского и перелив сарказма...

Окружённый прозой, вместо стихов я вижу
тёплых людей, прущих, как по Парижу,
по субботней стуже — медленнее-скорее
в инее на стекле в сторону батареи.

Что б сказал Цезарь, ставши у Рубикона,
слитого в твёрдый лёд тихо и незаконно?
Не посчитал бы самой дурной приметой,
чтобы спросить у жребия, бросить это?

Я каждый день бросаю, я выбираю —
ковыряться в рутине, глубины приотворяя,
есть из тарелки, мучиться вечным вопросом,
надевать сезонные брюки с начёсом,

жить стараться, с женщиною любовью
быть недостойным любви, быть собою,
шарить в смартфоне, отыскивать на бумаге
строки с намёком, как водяные знаки...

Просто ценить людей, что от года к году
дышат, витийствуют, двигают на работу;
глядя на водопад или же сад унылый,
быть восхищённым картиной и вечной силой...

Прежде самих времён, тёмных, седобородых,
был, как идея, просто придуман отдых,
чтобы застыла глина и помолчала лира,
после шестого дня и сотворенья мира.

...Позаботился о тебе

I

Нужно было: не сгинуть одному,
оказаться в поезде, отсидеть своё место,
не остаться голодным, не сворачивать с ума,
углубиться в окно, утомиться пейзажем...

Но Господь сказал. Господь рассудил.
Господь тихонько дунул, как будто
на свечку, на тебя, и ты загорелся....
Господь шепнул: «Я позаботился о тебе».

В праздник матрёшек, с выглаженными флагами,
с людьми, превращёнными в гимн и победу,
в кремнистой дороге от прозы и до стихов,
надо стараться, смотреть сквозь предметы,

бороться с наваждением, как будто от приступа
изменишься в лице, усомнишься в реальности,
на танцпол, на асфальт, на ядовитую травку —
некрасиво повалишься, увидишь облачко...

Но Господь сказал: «Я позаботился о тебе.
Мой сын, мой ветер, мой юный прах,
не знай о том, что коряв и хрупок,
полощи, как флаг, звучи, как строчка».

Ведь важно всегда — дымиться от ясности,
уметь горевать, доставаться радости,

волноваться в спокойствии, учиться в дураках,
хотеть к человеку, пробовать губами...

Строчка за строчкой, цифра за цифрой —
время перетекает из вечности в вечность.
Болезнь от смерти, жизнь от любви —
где бы ни прижгло, что бы ни было...

Господь сказал: «Я твой Господь,
вот путь, нарисованный сквозь серые будни,
вот твоя мощь, вот свет сегодняшний...»
Господь сказал: «Я уж позаботился о тебе».

II

Помнишь, однажды холмистым днём
мы видели обдутый ветрами валун,
неповоротливый камень, обласканный солнцем,
недалеко от обрыва — он твёрдо молчал.

Кто положил его — было странно.
Почему он не цвёл от тепла и дождя,
почему так запомнился средь синего воздуха,
но Господь позаботился — он жил и темнел.

Серый камень разорванных небес,
загнанный поезд отставленных дел,
усыпленный псих слоистых мыслей,
кающийся псалом царя желаний.

Средь горя скоростей, разочарований
ты веришь, ты ждёшь на своём, как камень, —
это Господь позаботился о тебе,
это ты идёшь, держась за ниточку...

* * *

Три мигающих точки
в синем чате моём:
мы одни этой ночью —
мы остались вдвоём.

Это значит, что точно
ты, услышав меня, —
три мигающих точки,
три зерна, три огня...

Три пунктирных отростка,
три спешащих вперёд,
три скреплённых в полосу,
три, что грянут вот-вот...

Распадутся в дороге,
что бела и мертва, —
на пробелы, предлоги,
на живые слова...

На всё то, чем ты будешь
заряжаться с людьми,
на люби/не полюбишь,
на пойми/не пойми...

В одиночку, вдвоём ли,
иногда ли потом,
но душа, как ни вспомни,
словно брошенный дом.

Ощущение света,
будто мы обнялись,
есть в общении, это
неисписанный лист.

Это свет расстоянья,
где лишь память жива
и на чистом сиянье
просто пишут слова...

Три мерцанья на белом —
за житьё, за бытьё,
чтоб почувствовать тело,
просто тело твоё...

* * *

Сыпануло стружкой ледяной,
льдом за нóчь остеклило двор,
и водитель, выйдя на свет дневной,
отскребаёт, включив, мотор.

Слюдяною коркой хрустят шаги;
балансируя на ходу,
тормозят прохожие — не могли
растянуться на сером льду...

Слышно птичье «крау», собачий лай,
редкий голос и шум колёс,
бог хранит невидимо, Николай
Чудотворец и Дед Мороз.

Кока-Кола едет. Она спасёт.
Скоро будет — не гул труда,
будут ёлки-палки на новый год,
настроение хоть куда...

Настроение — люди сроднятся с ним,
и как будто растопят снег,
и под небом праздничным и одним
будут петь и делить ночлег.

Хорошо пожить по такой поре,
победившем вконец добре,
в ледяном сверкании, во дворе
и придуманном декабре...

Кораблекрушение

Плохо я спал: как будто на корабле
всё раздавал команды, крутил штурвал;
море, запенясь, вскипало со всех сторон
и опрокинуть судно грозило мне...

Я орал на матросов. Они спеша
рвались туда-сюда, отвечали «есть»,
лазали вверх и вниз, убирали с мачт
все паруса до единого, ветер выл...

Я просыпался и зажимал меж ног
толстое одеяло... И засыпал.
Буря же всё сильнее кренила бриг,
что зарывался бушпритом, скрипя насквозь.

Юные горе-матросы уж не могли,
падали с рей, смывались большой водой,
рушились мачты с треском, и рой снастей
с палубы выметался, и я стонал.

Я скрипел зубами и поправлял
ложе своё суровое, и опять
видел корабль в агонии, что летел
прямо на дикие камни в ночном прыжке.

С плеском раздавшись на щепки, я соскочил
с мятой постели в лунную тишину,
слышал, как сердце стучится, переживал
это крушение во сне, смотрел в окно.

И наконец не выдержал: телефон
взял, позвонил — и голос мне отвечал,
сонный, почти сердитый, но дорогой...
И я ему сказал: «Я тебя люблю».

* * *

Хорошо просыпаться в 5:30 утра
выходного неспешного дня,
видеть то, как лежишь ты на смятой вчера
простыне и глядишь на меня.

Хорошо, что за окнами свет заиграл,
и легко, как пригубить питьё,
можно видеть глаза твои, видеть овал,
всё лицо и всё тело твоё...

На белесую память, ночную сурьму,
на свеченье и мякоть тепла —
ты распалась, ты вся отошла в «не пойму»,
как опять появиться могла»...

Словно рыбы, лежащие на берегу,
мы любили сквозь воздух беды —
на последнем дыхании, на «не могу» —
эту жизнь, эту близость воды...

За насущную жадность, за то, что светла
красота, и за радость невмочь —
мы сжигали друг друга, мы гасли дотла,
мы тонули в спокойную ночь...

Мы измучили ум, эти страсти неся,
лишь бы не было жизни иной —
только чувство тебя, что ты рядом, что вся,
ощущенье того, что со мной...

* * *

Что я делал двадцать первого,
знал о чём, забыл — потом...
Ни дотóчно, ни примерно я —
двадцать пятого о том.

Как под память не заглядывай,
нет ни дна, когда давно:
двадцать первое и пятое —
жизнь одна, и всё одно.

В круговом однообразии —
пролистни, переначнй —
страшно, аж до безобразия,
всё похожей дни на дни...

Словно спал ты или, пьяница,
вспоминал из-под стола —
про покойницу, про разницу,
двадцать пятого числа.

Двадцать первого, взволнованный
учащением в груди,
не сиди внутри — по-новому
наву происходи,

чтоб трепал тебя, подхватывал
ветерок, и ты сполна
не припомнил двадцать пятого
двадцать выпавшего сна...

Чтобы сердце вспоминателя
не жалело и не жгло:
лишь сегодня — обязательно,
а потом белым-бело.

* * *

Из страны тяжёлой налегке
ты уедешь — надо ли, не надо —
говорить на диком языке
небу и ромашкам у ограды.

По морям имён и всех времён
языка развеется звучанье —
закалён язык твой, заменён
на одно понятное молчанье...

Впрочем, если был, то говоришь:
как — неважно, главное — о главном.
И в стране, где жил ты, будет лишь
хорошо, и плохо, и подавно...

В том миру, что ты не понимал,
как это он твой, и тьмой пропащей —
разрывные площади, и мал
едущий, живущий, говорящий...

То ругмя ругал сильнеей всего,
то хвальмя хвалил его здорово,
но держался крепко — за него,
за начало памяти, за слово.

И земли, и зябкой красоты
не было ни легче, ни южнее:
только речь хранящая и ты —
мысль, пролетевшая над нею.

Дни преломления сил

Премьера межсезонья. Телевизор,
окно в весну, пробитое в стене.
Зима сгорела, шоу превратились
в холодные старательные сводки
о том, что в перемóлотом экране
кого-то сжили сó свету, кого-то
спасли во тьму, обман очередной
спалили, оказались присноправы,
враги, сам-дураки да пересуды
о том, когó вина, чья жизнь послужит
понятию страны, хотя и смерть...
В столице стыд. В провинции, которой
стыдиться бы, но нечем, заготовка
бумаг, да круп, да жидких опасений
о том, когда всё это прекратят...
Народу много. Даль великовата.
Поэтому так трудно ненавидеть
кого-то на другом конце экрана,
прицела, расстояния войны...
Внушителью понтов и громких дел
обряд за миру сказанное слово —
держмя держаться, и народу гулко
подхватывать, ронять и сокрушаться,
а слово-воробей — сильнее всех.
Средь табора, средь спорища за выбор
молчать в земле или звучать над нею,
зияет от успехов общий воздух,
и душно пахнет подвиг. Человек,
когда б ему родиться здесь, зверя,

наверно, научился бы бояться
гораздо раньше, нежели ребёнком
хоть что-то понял в дебрях новостей...

Он чует раздражённым спелым оком,
среди носов, ушей и сообщений,
ловя среди правд единственную правду —
что нужен он кому-то, и ему —
нужны, что ум спряжён и пережёван
под шварк руин и мясо на асфальте,
что всё не так, что всё гудит о мире
в зелёном появлении весны...
Когда погоны, форма, наступленье,
условен зыбкий дом твой, но яснее,
что стебель-человек живуч и крив,
что правды нет одной, но есть любовь,
сезон на все века, сама неправда...

Снегирь

Ты ли должен кому-то за
летний воздух с летящим пухом,
чувство, сказанное в глаза,
мысль, подуманную за ухом,

за любовь, от какой больно́
всё давно, и за смертью взятых,
и за то, что живёшь в кино
о деяниях и расплатах...

В декабре, как попрёт Сибирь
снежной карой и снежной мерой,
прилетает с лесов снегирь
и краснеет на ветке серой...

С неба дождик ему не льёт,
чистый снег на земле недвижим,
и сидит он себе, клюёт —
и не должен, и не унижен.

Вот и спеть бы нам на двоих,
хоть и это смешно, скажу вам,
как хотел бы я, глуп и лих,
быть испытанным остроклювом...

Потому что он оптимист,
потому что сам голос птичий
так заливчат, так звонок, чист,
как не выдумает лесничий...

И про этого снегиря
всё понятнее с каждой нотой,
как он должен себе, горя
бескорыстной своей работой...

* * *

В рукопожатье ладони рабочей,
жмущей с душою настолько всерьёз,
что сквозь тиски ты почувствуешь очень —
мост, ей отгроханный, дом, паровоз...

Словно попался в объятия силы —
до вытекания слов из орбит,
что пригорюнилась, но отпустила,
что намекнула, да не говорит...

Как я люблю: из привычных объятий —
тёла огонь, что живящ и змеюч,
но превращённый по роду занятий
в ковш загребучий ли, в гаечный ключ...

Тонкой рукою в ответ пожимая,
к птичьему лучше привыкшей перу,
с речью — из ночи её вынимая —
ты превращён в синий луч поутру.

И, отвечая, понять не могу я,
но, пожимая, чтоб знал ты, хочу:
я сообщу тебе силу такую,
что не уступит ковшу и ключу...

Будет железнее и паровозней,
будет надёжнее, как ни пойми,
рукопожатие — странный, межзвёздный
мост, перекинутый между людьми.

* * *

Цветок, не цвети. Трава, не расти.
Тепло, не волнуйся в крови.
Скажи поперёк, да поди запрети
невзгоде, природе, любви...

Давая, скрывая — намёк или знак,
про главное не говори,
чтоб было не больно, чтоб было не так,
что сильно и странно внутри...

Я знаю, что незачем — смысл придавать,
искать что-то кроме в глупце,
как только до света тебя целовать,
до счастья в красивом лице...

Что нежная дикость — природа сама,
где редко — такие пути,
чтоб не потеряться, не сбиться с ума,
чтоб молча любить и идти...

Но если от слов удержаться не смог,
признался об этом едва —
расти, как трава, и гори, как цветок,
за лучшие в мире слова.

Подумают: «Глупый». Ответят: «Прости...»
Поймут, не поймут, как назло...
Но ты не прикажешь не жить, не цвести,
когда наступило тепло.

* * *

Свистульки, гудки, жалейки,
роднульки беды кривой,
полейте ещё из лейки
водичкою ключевой.

Крупицею снеговой,
сиреневою грозой —
убейте водой живую,
проймите живой слезой.

Простывшей землистой куче,
чьи борозды и следы —
морщины любви живучей,
спокойной — одной — воды.

В тебе говорит проклятье,
но счастье — желать подчас
простого рукопожатья,
смотрящих с участием глаз.

Намёки давать, чтоб понял
хоть кто-то твой гнев, твой нрав,
хотя бы как посторонний,
хотя бы и не поняв,

но выслушав — среди парадов
и будней, где, видит бог,
в лесу неуютных взглядов
ты холоден, ты просох...

А твой собеседник кисло
в ответ на твои труды
своим улыбаясь мыслям —
как будто подал воды...

* * *

Хлопнув дверью, я вышел тихо —
было лето, ещё не зной,
воздух, пахнувший земляникой,
плыл зелёный, речной, лесной...

Плыл сквозь стены, висел над крышей,
прикасался тепло щекой,
стыл в деревьях, сползал неслышно,
трогал травы живой рукой.

После х́олода, как прогрето,
после зим, где снегов легло,
очень странно — от жизни, света,
очень странно, что есть тепло...

В какофонии всех мелодий
всё стремится, тебя храня:
ничего ведь не происходит,
кроме солнца и кроме дня.

Ничего, что с небес прицелясь,
ждёт зима и молчит пока,
но сильнее — живучий шелест,
изумруд на спине жука...

Ветви дороги

Память — и вспышка, и ранен цыган:
чёрно-змеиные дикие очи,
девичий, в сердце смотрящий наган,
ты почему так прицелился очень?

Не разлюбить — так с ума не сойти,
но пошутить и нагнуть бы за это
с древа небесного — ветку пути
самого млечного самого цвета...

Лунною силой, чьи травы мудры,
тихо учила, хотя не сказала,
что позабыть тебя с этой поры —
если и можно, то этого мало...

Значит, ты ранен до смерти, цыган:
будет внутри, бередя и тревожа,
но, если в память, как в прошлое, зван,
не позабудешь, то жить будешь всё же.

Не уводить тебе белых коней,
не торопиться из каменной клетки —
без сожаленья, но только, но с ней,
с той, что однажды так ранила метко...

Что в тебе скрыто? Казалось бы, вздор —
глупо-красивое, ветрено-пьяно...
Но приговор твой, но твой заговóр
обворовал ловкача и цыгана.

Что так связало в его голове
узел из памяти с цепкой резьбою,
что все дороги в своём большинстве —
ветви одной, неизвестной тобою...

Зверь по кличке Больно

Так давно — мозг не молчал на травке
под щебетание солнца, лесную воду,
так давно я не могу сказать:
«Мне ничего не надо. Я идиот».

Пощекочи картину чистой слезой-окуляром,
за пазухой паспорта «больно» своё проверь —
разожжённый цветок сладкого напряжения
пророс в твои мысли и ветвистые нервы.

Что это — «больно»? Это когда умирают,
растаются вовсе, любят и ненавидят,
пеняют на то, как в настоящем мире
несправедливо и неуклюже сделано.
Может быть, «больно» — это заразный зверь,
что забирается в голову
и остаётся,
обживает мысли и говорит свои,
разрывает людей обидною чепухой...

Зверь говорит: «Это ты разве счастлив?
Ты должен гнаться за призраком,
должен думать,
что не можешь без — человека, привычки, вещи,
без чьего-то тела, обычая и предмета...
Рвась за ними, быть перестанешь мною,
станешь летучим умыслом, звёздным пшиком,
и я не смогу в тебе,
и тебя избавлю
от верного страшного зверя по кличке Больно».

Зверь поселившийся,
зверь, вцепившийся в мысли,
с пристальной мордой,
зверь только твой навеки,
зверь — ощущение пролившейся кислоты,
мастер клыков и сомнений,
родимая хватка...

Я отвечаю ему: «До того, как стать
мною, ты был щенком по кличке Приятно,
был удовольствием, добро смотрел вокруг,
вскормленный нежностью, чувствовал про любовь.
Ты не боли, не сверкай из меня зрачками;
кем бы мы ни были, должен я только одно:
просто тебя пережить, пока ты не станешь
облачком, диким стихом,
воспоминаяем...»

Утлый мой мозг, защёлкнутый в тесный череп,
тихо качается на кружевных цепях
и говорит: «Сладко, приятно, больно,
необъяснимо, холодно, горячо...»

* * *

Фоткай скорее, пока не прокисло, —
небо, улыбка, морская река,
кошка с глазами голодного смысла,
чашка и капелька от кипятка...

Мотоциклист в задымлённом полёте,
девушка с трубкой — любуясь собой,
яркая радость из крови и плоти,
лица — красивые наперебой...

Сборщик мгновений, точнее, одного из
лучших, ты вставишь, оставив коммент,
в гордый некрополис, в праведный сторис —
самый понтовейший, самый момент...

Как ты безоблачно, как хорошо ты
выглядел, видел, смеялся и цвёл,
как драгоценно среди позолоты
самое лучшее время провёл.

Не по рассказам твоим, но картинкам,
люди заметят, в затылке свербят,
что не грустинка, но, как валентинка,
тихая радость, стучит из тебя...

Так что давай останавливать время,
лица, предметы, поток, снегопад...
Так что давай оставаться лишь с теми,
с кем беззаботнее брошенный взгляд...

Сотни моментов, испытанных где-то,
сложенных в цифру и фотописьмо,
скажут не больше, чем память про это,
что сохраняет движенье само...

* * *

Что ни думай, куда ни плавай,
где ни будь, в голове — стена:
три смотрящих и флаг двуглавый,
кровеносные имена...

Повоюешь ты с жизнью страстной,
убедишься, что не кристалл,
что не лёг полосой красной
на знамёна, гербом не стал.

Но когда ты любил кого-то
и не мог без того ни дня,
понимал в тот момент: чего там...
это родина, кров, родня...

Видел сквозь, под любую властью,
звёзды в небе, людей, дома,
что вошли в тебя, стали частью
всей земли твоей и ума.

Что ещё человеку надо,
если мог он любить пока,
понимал с полувзгляда взглядом
без особого языка.

Умереть мог за это тоже;
ведь до смерти ему нужна
обстановка, в которой прожил,
даже больше, чем вся страна...

* * *

Я люблю простой крестьянский норов
человека с уличных просторов,
что ни кривду выдавит, ни спесь,
но из прошлых бед, из разговоров
о насущном счастье соткан весь.

В том, как он, случается, встречается,
мимоходом «здрасьте» отвечает,
думая о чём-то при ходьбе,
не поймёшь, что это означает:
осуждает или рад тебе...

По его донёсшимся рассказам
для ушей прохожих слышно сразу,
как ему не сделает труда
подкрепить пословицею фразу,
снарядить по матери куда...

Сколько ни грустны его морщины,
за глаза добра и чертовщины
всё же не понять, как ни крути,
взгляд, что останавливал машины
на весёлых зебрах, чтоб идти...

Может, он открыт лицу любому,
может быть, с ума сбежал из дома —
я гадал, и ты гадай, смотри,
человеку встречному, простому,
с незнакомым именем внутри.

* * *

Ты человек хороший — надо тебя убить.
Как человек хороший — должен ты мёртвый быть,
чтобы ещё стать лучше, ибо со всех сторон
так говорят плохие. Так говорит закон.

Много таких, хороших, много людей со дна
лишь баламутят воду и не похожи на
всех остальных, а значит, этот пример — обман.
Так говорит порядок. Так говорит тиран.

В тяжбе со злом исконным ты задолжал добру,
вот и по стойке «смирно» жди на кривом ветру,
жалко-не жалко, только, если опасно сметь
жизни давать, то ясно: значит, решает смерть.

При исполнении долга — может, примерно так,
глядя в прицел, считает самый твой лучший враг,
так говорит верховный, как бы он ни был плох,
так промолчат в народе... Так заставляет бог...

Знаменем кровной веры, именем всех побед
словно наполнен воздух, словно пропитан свет,
и полюса системы, сложенной не вчера,
по производству хлеба, хаоса и добра...

* * *

С. III.

Взрослой звездой ушибленный, мальчик умолк,
с киноэкрана спустился, поднялся как волк...
Как оцетинился, дрался, угрозы сулил,
но говорил лишь по делу, когда говорил...

Певший про честные зори, берёгший клинок,
галстук носивший, а в галстукe этом не мог,
юность орла разменявший на профиль иной —
небо в тетрадную решку и облик блатной.

Ты, по району смотрящий на прорву-Москву,
бабки трудящийся, в казённом сидящий хлеву,
с бодрой командою самую волю простёр,
тьму разговоров, да и людей перетёр.

Бравший с лихвою, хотя и за эту лихву
не раскисающий: «Боже, куда я живу...»
Всё изменилось, всё покатилося из-за
жизни, осталось: звёзды и эти глаза...

Первою кистью по небу, неведомо где,
гроздь надежды, последней — круги на воде,
мальчик с отвагою волчьей и головой,
в тёмном подъезде убитый, в экране — живой.

* * *

В горнем смехе и звонком имени
холодок — родниковый нож,
словно ты говоришь: «Держи меня»
и пригоршню воды даёшь...

Словно нету другого выхода
и приятнее нет беды,
чем пригубить мне, чем испить тогда
из ладоней — твоей воды.

А приникни к воде протянутой
и дотронься к тебе едва —
словно яркие брызги, странно ты
рассыпаешься на слова.

И молчу я, водой наученный,
отшумевшего дня среди,
темноночия, темнолучия,
темновесной крови в груди...

И не хочется отступать мне,
даже если разлейся тьма
и исчезни ты — между пальцами
из ладоней — вода сама...

Средоточие света в голосе,
силой утренней холодна,
но слова твои — это области,
где лишь тёплые времена...

И всё в памяти шевелящейся,
как подобное миражу —
этот смех твой, живой, искрящийся,
серебрящийся — я держу.

* * *

Девушка пробует ствол пистолета:
нет ничего, кроме как убивать,
нравиться, сниться, уметь делать это,
время выкраивать, шить-поживать.

Дух успевастья, в косплеи воплощённый,
стыд, заключённый в ночное бельё, —
губы протяжные, взгляд наращённый,
стройные линии тела её...

Как же дано ей так знать притяженьё,
делать по-женски, но с силой мужской,
делать при помощи холода жженьё,
и размножение, и непокой...

Всё-то в себе не убьёт-убивает
тёмных зверей бесконечной весной;
всё, что ни помнит, — не забывает
самой потомственной мысли одной...

Парой царевичей ей разродиться —
это так правильно, хоть и не в новь —
честно вылизывать, словно волчица,
капитолийскую милую кровь...

* * *

Бездна законная,
что и спать невмочь,
ночь моя бессонная,
медленная ночь

с беспокойством, сотканным
из дневных хлопот,
с одеялом скомканным
и подушкой в рот...

Памятными вспышками,
как задет крылом,
я промыт, и слышно мне —
небо за стеклом.

Замолчать по-чёрному,
думать в тишину —
ночь моя бессонная,
я тебя усну...

Но не засыпается
в этой тишине,
но не забывается
ничего во мне.

Словно в мёртвой заводи
плеск и круг живой,
проступает в памяти
самый образ твой,

строки, чья история —
это сердца труд,
о тебе которые
вторят и живут.

И тебя так помню я
в ночь и недосуг —
эту жизнь бессонную
не уснуть, мой друг.

Ревность

I

Оказалось, что в этих чёрных глазёнках
прячется сгорбленный уродец,
голый, лысый, с лицом без черт,
сморщенный так, что боись потрогать.

Изо рта, из глаз твоих, из лица —
он выбрался, выкарабкался наружу,
он залез ко мне, он закрался в грудь,
облапил сердце, и настало «тесно»...

Тесно внутри, туго внутри —
он крепко схватил, не ослабляет,
он следит за тем, чтобы боль старалась
днём и ночью, чтоб я о нём думал...

Из тебя, лучистой, как летнее утро,
вылезло это — с цепкими лапами,
стало внушать, как ты равнодушна,
растравило внутри ревнивого зверя.

Так из прекрасной спокойной воды,
вспенив поверхность, на прочной бечёвке
вытягивают сома, видят, что страшен,
говорят: «О боже! Какое уродище...»

Собиратель праха, ребристая смерть,
питаемый любовью и нежной падалью,

этот уродец пробрался в мозг,
зажал в драгоценных сосудах кровь...

В чём я так виноват пред тобой,
что будто бы подан на растерзанье
человечку, рождённому из тебя,
из твоей улыбки, тепла и голоса...

II

Когда я прежде тебя целовал,
сжимал твоё тело, как некий свет,
безжалостно мял, дышал тобою,
не мог наглядеться, как *ты* вся такая...

Мог ли я знать, что в эти моменты
где-то внутри начинается дитя —
изощрённый хозяин камня и жжения,
уродец, что выйдет и будет со мной.

III

Хорошо, что в мире, созданном из
машин, успехов, обставленных домов,
изысканной еды, прелестей быта,
возможно не всё объяснить до конца.

Хорошо, что есть ужасное чувство,
не дающее покоя торопящимся людям,
хорошо, что они о чём-то не знают
и мучительно ищут. Хорошо, что плохо.

Девочка

Дай мне карамельную конфету
из ладони липкой, детской, этой,
улыбнись тому, как озорству, —
просто потому, что я живу...

Девочка, которая глазастей
взрослого с копилкою несчастий,
видит лучше, что́ оно и как, —
одарит полсчастьем просто так...

Оттого, что нет смешнее больше,
оттого, что ей дышать подольше, —
из груди, где сад и небосвод,
из нежитых лет, как от щедрот...

На твоих косичках свет игривый,
изо рта, где смех и зубки кривы,
но счастливы, — громче и бойчей —
речь, неисчерпаемый ручей.

Но не столько даже за конфету
оказалась ты чуднее света,
но за память, добрую до дна, —
детство слаще утреннего сна.

Гифасис

Все стояли у Гифасиса,
все хотели, как один,
ни печёного оазиса,
ни обугленных руин,
ни земель, им уготованных,
ни наград, ни славных нош,
если столько навоёвано,
что назад не унесёшь,
не фалангой вставши ровною
у черты воды прямой,
но толпой и просьбой кровною
поворачивать домой.
Тот, кого они не поняли,
убеждал, что победим,
человек из Македонии,
тоже был, и был один.

Он стоял, непонимающий,
изумленьем поглощён,
почему его товарищам
не воюется ещё.
Почему с огнём и карами
должен он вперёд не мочь
гипаспистами, гетайрами,
фалангитами и проч.
Полбогатств отнято-роздано,
полземли, полжизни лет,
остальное — рано, поздно ли —
чем не повод для побед...

Но солдаты — тоже жители,
просто выстроены в ряд,
и придётся победителю,
чтобы жить им, быть назад...

Я люблю стоянку, станцию,
из какой пути резки:
без тебя, с тобой, добрался я
до черты такой реки.
Из характера упрямого
покорив, не был суров,
но дошёл с тобой до самого
края света, края слов...
Я люблю тебя, пропавшую
в рот-молчок и тишину,
я смешал, одними ставшие,
отношенья и войну.
Но воспетые поэтами
и забытые в гранит
воевали не за это ли,
не показывали вид...

* * *

Я курил на балконе и видел звезду,
что висела под самой луной,
что была — на весу, на лету, на ходу —
самой красной и самой одной.

Видел я, что луна, что из золота вся,
передвинувшись, светит сильней,
а звезда так и рядом краснела, вися,
и одна, и чудна, и под ней...

Что за красная тварь просочилась в тот час,
заточила себя в лунный круг —
это Марс, это значит прищуренный глаз,
это просто красиво, мой друг?

Много-мало ли звёзд бережёт тишина,
но зачем, я никак не пойму,
среди просторов, холодная, греет она,
намекает — тебе одному...

* * *

Расскажи мне, о блогер, знаток про кино,
предъяви, эрудицией вея,
почему, хоть полным интернета полно,
не хватает добра и блюрея...

Не сказать фетишист, но почти реалист,
по другой ли, по этой причине,
я уснул и увидел кино, где лучист
профиль девушки в тёмной машине.

Я люблю её образ, хотя в забытьё
крепко спрятал, но в памяти всплыли,
я люблю, и, быть может, совсем не её —
всё безумье о ней, всё бессилье...

Как живёт она где-то и как наяву
говорит или делает что-то,
и я делаю тоже, и тоже живу,
словно это такая работа,

строю вид без неё, что не больно вполне,
сам себе режиссёр и биограф,
и всё прошлое крутится прямо во мне,
как испуганный синематограф...

* * *

Выткал снег на футбольном поле,
взяв с ветвей, тополиный ткач,
но охота сильней неволи,
и мальчишки играют в мяч...

Летним сном, не устав от бега
целый день, и с мячом в уме,
не до пуха им, не до снега,
намекнувшего о зиме.

Как воюют, а не играют,
как отряд на другой отряд,
отнимают, ведут, теряют,
забивают — глаза горят...

Смех и ругань, тела и лица,
и от бега их лёгкий пух
поднимается и ложится,
в летнем воздухе — зимний дух.

Тополя, чьи стволы и хоры
будто что-то сказать должны,
шевелиются, летят узоры
нескончаемой белизны...

Нескончаемая работа
забывания детских бед,
и летит белый мяч в ворота,
в синий обморок, в белый свет...

* * *

По флешбэкам, вырванным из контекста
всех твоих присутствий, каких не счесть,
там и здесь, в картинках, с набором текста,
знаю я: ты где-то, живёшь, ты есть...

Выпендрёжным светом, звездой ранней,
среди хлопот померкших и выгод лишь,
среди красот весёлых и будних зданий,
улыбаясь видом своим, молчишь.

Летний день обступит тебя окружно,
поздний лист в осеннем падёт саду.
Как легко и молодо, как нескучно
ты горишь у вечности на виду...

Я б хотел быть пойман и приведённым,
как дитя за руку, в твой юный край
успевать с тобою — в наплыв зелёный,
твой прозрачный голос, твой тихий рай.

Но и пусть в аду, разве знать прикажешь:
ни смартфон в ладони, ни мир в окне
не покажут правды, а ты не скажешь,
как тебе живётся, как есть оно...

Внимание женщины

Бабочка, севшая на подоконник,
ветер, дёрнувший густую ветку,
лунная рябь по вечерней воде —
разве не это вниманье женщины?

Как хорошо, что в этот момент
вы не связаны детской страстью,
не оправдываетесь, не городите —
просто плывёте, совпав во времени.

В перечне дел, где счастье в клеточку,
вы — две линии — пересеклись,
чтобы рассеяться после опасности —
взгляда, слова, прикосновения.

Я заглядывал под одеяло,
скомканное обидами и немотой,
я слышал разорванную простыню,
воду из крана, гремящую мебель...

Поверь, что лучшее — предпочесть
язык стрекоз, воробьиного утра,
взгляд с намёком, встречу без слов,
боль, когда ничего не ранено.

Женщина, думающая о тебе
и ни о чём, так и останется —
среди туманов и обстоятельств,
невозможностей и ожиданий...

Ты, подоконник, ветка, вода,
бабочку, ветер, лунную рябь —
просто знай и тихо храни,
пока они не рассеются в памяти...

* * *

Неповадно, палевно, но верно,
по примеру веры, по чутью,
жизню святого Моргенштерна¹
жизнь настроить — музыку свою.

Ободрялки, плакалки, игрушки —
это быть доходчиво должно,
как учили блогеры в избушке,
говоря в экран через окно.

На десятки, сотни и на тыщи
одобрений — мира на краю —
умные настраивать глазища,
умирая в камеру свою.

Может, эта смерть-видеотека
не хайповей палого листа —
житие простого человека
и сама его непростота...

Не затем, чтоб все узнали лично,
как звучит, как выглядит живой,
просто так он лучше, чем обычно, —
вечный блогер Господа. И твой.

¹ Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов. — *Прим. ред.*

* * *

Разлюби слова за их свет окольный,
затемнённым смыслом своим скрипя,
в тот момент, когда говоришь, что больно,
и не больно слышащему тебя.

Потому что словом не приголубишь,
не найдёшь на чувство похожий звук
в тот момент, когда говоришь, что любишь,
а тебя не любят. Тебя, мой друг.

В три узла запутанный, серповидный,
будешь ты не высказан до конца,
будешь ты оставаться внутри, не видный,
говорителя смысла и слов чтеца.

Полюби глаза с затаённым блеском
и черты лица и читай подряд,
потому что это понятней, если
не словами — просто обычный взгляд...

На святых деревьях листва повисла,
зашуршало ветром, зажглись моря —
перейди на дикий язык, ведь смысла
не спасти, особенно — говоря...

Понимай, что память светла и ныне,
не касаясь слуха, и лишь следи,
как белеет облако в чёрной сини,
замирает утро в живой груди...

Можно ли сточить камень?

Я вижу людей, говорящих «я прав»,
читаю людей, пишущих «я прав»,
живу среди людей, умирающих за правоту,
чувствую людей, замурованных в правоте...

Можно ли сточить твой камень внутри?

Повсюду от меня беспардонная водица,
омывающая мозг, закованный в улыбку,
подрывающая глыбы пропащих новостей,
душеспасительные идеи о простоте непонятого.

Я люблю тебя, упакованную в лёд
цифровых приличий и достигнутых дел,
обиженную мною, но нежную так,
что я бы растаял от делового холода.

О, *как* ты прикасалась ко мне
легкомысленной земляницей и настойчивой кровью,
билась в небе, терпеливо обвивала,
таяла сама от насилия и любви,

оказалась жизнью, пределом дыхания,
перевернутой страницей, буквы которой
я помню до единой, скрижалю сердца...
Можно ли сточить твой камень внутри?

Я оказался на жидкой плоскости,
обложенной валунами, громадную твердью,

смешавшийся, лужица, с кривой водицей,
среди чужой правоты и святых истуканов.

Как учили птенцов родители:
сын ли дочь, необходимо,
чтобы стал порядок, быть как камень.
И поили из ложки первобытной рекой,

проливали через край, показывали на свет,
оказывались светом, пропускали в синеву,
и твой детский камень расплывался в груди,
учился холодному взрослому миру.

Птицы лиц, тронутые сухотой,
вложив всю воду и твёрдую нежность,
опоздали во времени, а ты остался
успевать вослед — то вода, то камень.

Как ни устань от того, что прав
праведный валун, океан сомнений,
нет окончательной правизны
ни в левой, ни в правой части света.

Мозг — планета внутри головы —
больше верит, чем крепче знает,
свету, нежности и дождю,
и замышляет сточить твой камень.

* * *

Есть вода в городской долине
на сухой кривизне листа —
жидковыпуклый, чисто-синий
вид воды... Но вода не та.

Капля с неба — такую сделай —
из случайностей, меж людьми,
сколько выпадет быть ей целой,
береги её, не сломи.

Разобьётся она — почувствуй,
но виновных не находя;
должен быть, как оно ни грустно,
в этой ягоде сок дождя.

Может быть, потому что нету
злей беды, где кипят труды,
может быть, потому что это
часть огромной, одной воды...

* * *

Я люблю эту дикую книгу природы,
исполинскую силу древесной коры,
обнажённые воды, сверлящие всходы
из простуженной гнили, где дремлют миры.

Я хочу изучить, от небес до былинки,
что чего подпирает, на чём утверждён
храм живучей весны, заменяя поминки
на великую свадьбу зелёных имён...

Надо струнку слышать, чутью во спасенье,
надо думать дыханьем, как травы взошли,
чтобы как-то понять эти своды под сенью,
уходящие силой в суглинок земли.

Говорящая молча, но прущая грудью,
от любви, но из смерти, чтоб запах и цвет,
с обновлённою плотью и самою сутью —
на любой, человеческий, древесный скелет.

* * *

Нет, я ранен тобой навеки —
наяву ли, в наплывах сна,
в разговорах, в делах, что реки,
ты сквозь всё моё, как волна...

Это видимо и другими
в том, как речь веду, что творю:
говорю я с тобой, не с ними,
не на них, на тебя смотрю.

Пафос выспренный время-лекарь
тихо высушит, но слова,
но страница, библиотекарь,
где молчат они, как жива...

Потому что и ты так ранен,
что ни лекарей, ни аптек,
и я просто назвал, что с нами,
полминуты, неделю, век...

Потому что, кто жил по книгам,
знал — из жизни, любил — бог весть
почему, накрывало мигом,
где спасенья — и нет, и есть...

Потому что других ранимых
перебыть, пережить могли,
потому что в губах любимых
чувство неба, укусы земли...

Над землёй

I

Папа играет с сыном —
маленький самолёт
держит рукою сильной,
папа летит вперёд.

Зелень с ветвей нависла.
Небо и молоко.
Сын тихо смотрит снизу,
сыну легко, легко.

Светом с просторов льются
смех и лучи тепла —
взвиться бы, прикоснуться,
тронуть его крыла...

Как он красив в полёте,
словно бы вверх воздет,
словно живой, из плоти,
словно крылатый свет...

Папа легко и слепо
свет этот самый льёт —
держит рукою небо,
взявшись за самолёт.

Хоть до земли не так бы
вроде и далеко,

как же так может папа,
как же он высоко...

И от восторга бледным
рядом спешит дитя,
и поспекает следом,
«ж-ж» говорит летя.

II

Ветер, дуй, а облако — лети,
выйдь из дома, змея запусти,
за детьми, с детьми, быстрее детей —
наперегонки, на свет путей...

Видишь, весь раскрашенный в огни
глупые, поделка из фигни,
весь китайский, глаз не обратит
на него внимания... Летит...

Два больших хвоста, как два пера,
птичий корпус — видит детвора,
ног, земли не чуя, воздух лишь,
и гудит вослед, и ты бежишь...

Летние стрелки, встревожив зной,
тетивую связаны одной,
в струнную натянутые связь,
в зазвучавшем воздухе смеясь...

В том, как ветер рвёт его края,
вся любовь и детство, жизнь твоя,
рыба в небе, свет в родном окне,
ты, держатель змея на струне.

* * *

Камня, Господи, равнодушья
мне за пазуху снаряди,
чтоб не кончиться от удушья
или ножниц внутри груди,

чтобы время пошло спокойно
и не жгла меня докрасна
ни зазноба, ни, словно войны,
красота твоя, белизна.

Даже если тоска невольна,
даже если свались беда,
человеку должно быть больно
и не побоку иногда,

но, потухший и так смотрящий,
как завёрнутый в гордый плащ,
он совсем не такой пропащий,
над бегущей строкой стоящ...

Вспомнёт он стихи, мотивы
и цитаты на все века,
убедится, что страсти лживы,
и насколько права строка...

Утешаясь, умней не станет:
на бумаге слова сухи.
Но когда-нибудь перестанет...
Камень, ножницы и стихи.

Alain Delon

За долгий взгляд, понятный сразу,
где лёд, спокойствие само,
за тихо брошенную фразу:
«Je'n perds jamais. Jamais vraiment»².

За то, как молча глаз не сводит,
манящ и так же леденящ,
за то, как шляпу взяв, уходит
из вида, закрываясь в плащ...

За то, что, сумрачный убийца
других убийц в ночи густой,
он видит смерть, он видит лица,
ни сам не дрогнув, ни чертой...

За то, что он, жилец экрана,
любви и славы не просив,
но победив, погиб так странно
и иностранно, он красив...

За то, что эти сказки редки,
но их герой будил родство
и был один, как птичка в клетке,
предупреждавшая его...

² Я никогда не проигрываю. Правда, никогда. (*фр.*). В оригинале — фраза «Je ne perds jamais. Jamais vraiment»; в фильме слышится, как герой произнёс её более кратко.

* * *

Из глубины страны, в бодрых фотоотчётах
о неприглядных буднях, праздниках и работах,
из-под земли вдали — воды густых народов,
смешанных на крови, семени огородов...

О, электронный царь, дух моровых поветрий,
хаосы территорий вычурных геометрий —
всё это так пространно, вынута за пределы,
словно дорог не хватит, словно не выйдет дело...

Может, затем сближенье — это живая мука:
если так широко — трудно любить друг друга,
если, по существу, каждый в комфортной зоне —
собственном только теле, памяти, телефоне...

В неуставной Сети взглядом скользя согретым
между девичьим садом и никаким советом
по умноженью денег и наведенью глянецов,
видишь полно улыбок и непоследних шансов...

Скажешь ли о любви — будешь как иностранец,
где не поймут тебя — хоть не покажут палец;
надо ли понимать и говорить народу —
просто спокойно жить, просто смотреть на воду...

И я смотрю на воду, небо и на природу,
я глубоко в стране, верящей год от года:
что-то из прошлых бед не повторится снова,
кроме детей, что будут, и ничего иного.

* * *

Как во мраке Эребовом,
весь нагой и тугой,
мял тебя я и требовал,
а молчал о другой...

Если жесты горячие,
ночь остывшей змеи
не тебе предназначены,
но как будто твои,

может, было неведомо,
как тут что-то не так...
Но губами, но преданно
ты оставила знак.

Я ценю унижение:
среди людей, чародей,
находить отражения
из любимых людей,

словно в море немереном
видят берег с травой,
словно ищут потерянный
призрак юности свой...

И, тобою расплавленный,
я плыву как могу,
и огонь твой оставленный,
потеряв, сберегу.

* * *

Ты заведёшь себе собаку —
с тобой пойдёт она гулять
и будет слушаться по знаку
и человека заменять.

А заведёшь ты человека,
чтобы любить его и греть,
роднеть он будет треть, полвека,
и как собака в рот смотреть.

Ты заведёшь себе привычку
кого-то рядом заводить —
ребёнка в доме, в небе птичку,
мечту, чтоб время проводить...

Но как ребёнок из ребёнков,
но как собака из собак,
но человек, кому так тонко,
что не заводится никак...

Но он навряд ли не заметит,
прости, не знаю почему,
что к одиночеству на свете
не привыкается ему.

* * *

Юностью, в порыв без перерыва
у обрыва в зрелость, старость, тлен,
девушка танцует, и счастливо
юбка развеивается с колен.

Круглые движения крылаты,
как приподнимая в высоту,
как же ты сгораешь, как легка ты
на бегу коротком, на лету...

Загоришься вся, и словно россыпь
вспышек на лугу, да и в мозгу,
видеть за тобою — самый способ
за далёким сном, за «не могу»...

Чтобы наконец остановилась
и предстала, танцу напролом —
рыба, что хвостом о сердце билась,
память, что заденута крылом...

И как нет ни жженья, ни движенья,
чувствуй-не почувствуй-рассуди:
просто, словно головокруженье,
это небо, сильное, в груди...

И стоишь, как что ещё проснулось,
ни глупей не сыщешь, ни чудней
девушки июньской, словно юность,
строк, в горячем воздухе, о ней...

* * *

Сокол небоязни, что в отчизне-
укоризне, жизни-куковизне,
как в лесу чужом, где жди беды,
полный клюв набрал святой воды...

Как испил её — сухую малость,
так она живящей оказалась,
на себя пролил — растворена,
обернулась мёртвою она.

«Господи, помилуй» произносим,
сокол упустивший, стань лососем,
выстрели икру, как тетиву
разрядив, гуляя на плаву...

Чтоб под небом, хоть вода капризна,
плавизною стала куковизна
и со дна холодного, тепла,
жизнь, как чепуху, себя плела.

Верила, в кого ей превратиться, —
рыба на реке, по ветру птица,
грохот сверху, капли из ручья —
зоркость соколиная ничья...

* * *

Е. А. Баратынскому

Знаешь, в твоём вопросительном взоре,
пусть безотчётно, но свежая весть —
небо в окно, законное море,
шорох дороги непройденной есть.

Лязгают сходни, коптят теплоходы,
шумные воды, как будто народы,
волнами всходят, и этот подъём
с ровного места — во взгляде твоём.

Ты почему так о жизни не знаешь,
что, если смотришь, почти приглашаешь
в небо, на море, под солнце дорог,
где просто ветер — всё то, что берёг...

Хоть наберёг я ни много, ни мало,
изо всего, что душа принимала,
только и слово, в душе поскрести, —
выдох стыдливый, холодный, «прости».

Кто виноват, что, вращаясь куда-то,
время придумано и воровато,
что его нет, но его жернова
много понятней, чем просто слова...

Видя, как ты расцвела не по росту,
я потому написал бы в конце
вовсе не строки преумные — просто
глупые знаки на тихом лице...

Намёки

I

Никто не хотел тебя обидеть, ненавидеть или любить. Просто все так же, как ты — обнажены и чувствительны и не знают, как поступить. Или же знают слишком хорошо для того, чтобы это оказалось правильным.

II

Может, это бытовая галлюцинация, но кажется, что в таком общеизвестном состоянии природы, как «перед дождём», когда в небе нагромодились тучи, ветры защёлкали ветками, загромыхали вспышки, и вот-вот упадут первые тяжёлые капли, в напряжённом воздухе разносится далёкий, но узнаваемый запах вишнёвой косточки.

III

Изредка, но почти до слёз, мне становится дико и ужасно от того, насколько я недостаточно проявляю любовь к родителям. Насколько я плохой сын. Ведь они могут уйти, и это ощущение, это сожаление останется со мной. Но постепенно оно проходит, и я чувствую, что они, как ангелы-хранители, прощают меня и хранят.

IV

Насколько прекрасен часовщик за работой, или парикмахер, или газовщик, как точны и выверены их движения, настолько иногда безобразен поэт, когда пишет стихи. Он почти отвратителен, когда ему неймётся, когда угрюм и нелюдим ради того, чтобы своё мастерство сочетать с ускользящим вдохновением.

V

Наверное, в человеке говорит не он сам, не его шевелящийся рот, разбегающийся по древу мозг, бьющееся на автомате сердце, а некий заведённый огонь, норовящий наружу... Сгущённый особым образом, тёплый, как только что выдоенное молоко, кусок энергии, который не улетел ещё в неведомое тартарары. Который вот ещё здесь.

VI

Яблоня в цвету, но начинающая уже опадать цветками, доканчивающими на земле и на асфальте, похожа на женщину после любви.

VII

Вероятно, дети — психически неблагополучны: живут в состоянии инфантильных глупостей, верят в игры, верят, что нужно носиться с мячом, дёргать друг друга, скалиться и ухмыляться, верят, что есть счастье от победы... Хотя и временно: бóльшую часть жизни приходится проводить во взрослом состоянии — в мыслях о том, как удобнее любить, в мыслях о неудобной смерти.

VIII

Однажды я шёл по дороге, которая, тронутая темноватым гляцевым ледком и присыпанная сахарным снегом, при лунном свете удивительно напоминала бесконечный тульский пряник.

IX

Хайповые названия — словно чаяния народа, в котором владело или желание халявы, или привычка просить милостыню. Так же, как милостыни, работники названия просят внимания любым способом. Лишь бы подали.

X

Человек живёт в скрытом ожидании, что кто-то приятно ранит его словами. Почему именно этими — неизвестно. Но будут простые слова, видеоряд, от которых станет грустно, больно, приятно, захочется заплакать... От этого простого будет сложно.

XI

Идя после рыбалки обратно, заметил, что кругом великолепные, поросшие травами, с мирами насекомых гадов, поля. Словом, всё настолько жужжало и тяжело вздыхало от жары, что вздохнул и я.

XII

Одуванчик — самое меняющееся из растений. Был желтящий и пахнувший, но вдруг превращён в паука, нашпигованного пушинами, а те, в свою очередь, сдунутся, и останется мёртвая голова...

Если за сезон так неузнаваемо меняются растения, что говорить о людях...

Созревающая свежесть и рытвины трещин по телу, детская открытость всему и замкнутость на собственной опустошённости, вера в солнце и знание о том, как всё остаётся в земле, — я изучаю азбуку контрастов, чтобы повторить путь превращений и быть выученным самому. Может, главная наука в том, что нет сиюминутного утешения, но есть великое незнание о метаморфозах, с которыми возможно всё.

СОДЕРЖАНИЕ

«В памяти рылся — забвеньё наскрёб...»	5
«В сентябре, проходя “флюорографию”...»	6
«Средь лица выражений счастливых...»	8
Зимний пляж	
I. «Ты говорила: «Вот волнолом...»	9
II. «Это — как слышать тебя, настоящую...»	11
«Глянул на фото и словно обжёгся...»	12
«Я слышал, что римлян...»	13
Органный зал	15
Описание поцелуя	16
Поезд виноватых	18
«За твоё душевное человечье...»	20
«С видом грустным и нелюдимым...»	21
«О чём знает птица...»	23
Элегия павших надежд	25
«Как хорошо, что всё на свете...»	27
«Тянет свежестью, духом баннным...»	28
«О пацан, что в школьной мужской шеренге...»	29
«Я поставил на полку новогодние домики...»	30
«...День шестой. Я поднялся с постели...»	31
...Позаботился о тебе	
I. «Нужно было: не сгинуть одному...»	33
II. «Помнишь, однажды холмистым днём...»	34
«Три мигающих точки...»	35
«Сыпануло стружкой ледяной...»	37
Кораблекрушение	38
«Хорошо просыпаться в 5:30 утра...»	40
«Что я делал двадцать первого...»	41
«Из страны тяжёлой налегке...»	43
Дни преломления сил	44
Снегирь	46

«В рукопожатье ладони рабочей...»	48
«Цветок, не цвети. Трава, не расти...»	49
«Свистульки, гудки, жалейки...»	50
«Хлопнув дверью, я вышел тихо...»	52
Ветви дороги	53
Зверь по кличке Больно	55
«Фоткай скорее, пока не прокисло...»	57
«Что ни думай, куда ни плавай...»	59
«Я люблю простой крестьянский норов...»	60
«Ты человек хороший — надо тебя убить...»	61
«Взрослой звездю ушибленный, мальчик умолк...»	62
«В горнем смехе и звонком имени...»	63
«Девушка пробует ствол пистолета...»	65
«Бездна законная...»	66
Ревность	
I. «Оказалось, что в этих чёрных глазёнках...»	68
II. «Когда я прежде тебя целовал...»	69
III. «Хорошо, что в мире, созданном из...»	69
Девочка	70
Гифасис	71
«Я курил на балконе и видел звезду...»	73
«Расскажи мне, о блогер, знаток про кино...»	74
«Выткал снег на футбольном поле...»	75
«По флешбэкам, вырванным из контекста...»	76
Внимание женщины	77
«Неповадно, палевно, но верно...»	79
«Разлюби слова за их свет окольный...»	80
Можно ли сточить камень?	81
«Есть вода в городской долине...»	83
«Я люблю эту дикую книгу природы...»	84
«Нет, я ранен тобой навеки...»	85
Над землёй	
I. «Папа играет с сыном...»	86
II. «Ветер, дуй, а облако — лети...»	87
«Камня, Господи, равнодушья...»	88
Alain Delon	89
«Из глубины страны, в бодрых фотоотчётах...»	90
«Как во мраке Эребовом...»	91

Евгений Морозов

«Ты заведёшь себе собаку...»	92
«Юностью, в порыв без перерыва...»	93
«Сокол небоязни, что в отчизне...»	94
«Знаешь, в твоём вопросительном взоре...»	95
Намёки	96

Об авторе:

Родился в Нижнекамске. Закончил филологический факультет Елабужского государственного педагогического института. Публиковался в журналах «Дети Ра», «Стороны света», «Артикль», «Зинзивер», «Футурум АРТ», «Формаслов», газетах «Поэтоград», «Литературные известия», порталах «Прочтение», «Сетевая словесность», Textura. Финалист поэтических конкурсов (проект «Вечерние стихи», «Хижицы», «Лебеди над Челнами»), лауреат журнальной и газетных премий (журнал «Дети Ра», газеты «Поэтоград», «Литературная Россия»). Автор четырёх книг стихов. Член Союза писателей XXI века. Член Союза российских писателей.

Литературно-художественное издание

Евгений Александрович МОРОЗОВ

ДОЛГАЯ МАШИНА

стихотворения

Выпускающий редактор *Владимир Коркунов*

Редактура и корректура автора

ISBN 978-5-6051485-0-0



9 785605 148500 >

Бумага офсетная

Гарнитура Minion Pro

Тираж 200 экз.

Подписано в печать 05.02.2024

«ЛитГОСТ»

Типография ИПК «Квадрат»

Белгородская обл.,

г. Старый Оскол,

Комсомольский пр-т, 73

kvadrat1998@gmail.com